

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

И все так близко и так далеко,
Что, стоя рядом, достичь нельзя,
И не постигнешь синего ока,
Пока не станешь сам как стезя...

Александр Блок

В первом номере журнала «Север» за 1966 год появилась повесть Василия Белова «Привычное дело», которая сделала молодого тогда еще автора широко известным писателем, подавшим своего рода заявку на место в нашей отечественной классике. Несмотря на то что за плечами автора были уже такие безусловно талантливые произведения, как «Деревня Бердяйка» и в особенности «За тремя волоками», эта новая повесть — из прошлого одной семьи — стала этапной не только в творческой биографии русского писателя В. Белова, но и в так называемой «деревенской прозе» 60—70-х годов вообще. После нее уже невозможно стало писать о деревне послевоенной поры «по-старому», так, как писали до Белова.

Известно, что вслед за появлением крупного, эпохального произведения на ту или иную тему (историческую, социально-нравственную) тема эта как бы «закрывается» в литературе — вовсе или хотя бы временно. Так, например, после «Войны и мира» Л. Н. Толстого в России почти перестали писать об Отечественной войне 1812 года; после «Тихого Дона» М. А. Шолохова фактически «закрылась» тема казачества и гражданской войны 1918—1921 годов. Точно так же и тема послевоенной деревни в ее этнографически-нравственном аспекте получила в повести В. Белова свое почти что исчерпывающее решение.

Жизнеописание семьи бывшего фронтовика, а ныне колхозника Ивана Дрынова с его незабываемыми откровениями («У меня рука кому хошь копоти нагонит!..», но при этом: «Все мы, Парменушко, под сельпом ходим...»), да и весь жизненный колорит и удел затерянной в болотном бездорожье деревушки (которую условно следовало бы назвать Африкановкой — по имени дрыновского родителя) воспроизведены на высочайшем художественном уровне, по образцам русской классики. Но это пристальное, добросовестное и в высшей степени заинтересован-

ное исследование деревенского уклада, сиюминутное фотографирование жизни — даже при очень чувствительной и многоцветной пленке! — как выяснилось дальше, не совсем, видимо, удовлетворило автора, повлекло его вглубь, к истокам.

Литература, как известно, проистекает из необходимости осмысления жизни, желания понимать не только ее лицо, но и внутренние закономерности ее и тайные пружины. Недаром Леонид Максимович Леонов сказал как-то, что «писатель — есть следователь по особо важным делам человечества...». Попытка же проникнуть в глубь жизни и ее проблем косвенно, скажем через рассказы и побывальщины бабушки Евстолии («В большой-то деревне, в болотном kraю жили невеселые мужики, одно слово — пошехонцы...»), была, по-видимому, далеко не достаточной для того, чтобы выяснить до конца истоки и первопричины того «растительного» до некоторой степени бытия, которое с такой исключительной силой воспроизвел автор. Потребовалось обратиться к свидетельствам других старожилов этих мест, стоящих на более высоком уровне понимания, а именно к ветеранам и «заслуженным людям», пребывающим ныне на покое, Авинеру Козонкову и Олеше Смолину,— и необходимые разъяснения были получены. Для этого писателю пришлось несколько изменить угол наблюдения и вместо нравственно-этнографического подхода избрать социально-нравственный и на этой основе создать еще одну замечательную повесть, повесть-исследование или диспут — «Плотницкие рассказы».

Художественное исследование жизни в «Плотницких рассказах» вывело писателя на новый уровень, он сумел показать уже не только судьбу личности, семьи, но судьбу целой деревни, края, причем не только в ретроспекции (как было, с чего начиналось), но и выяснить некоторые предпосылки будущего, когда почти неминуемо возникнет проблема сселения и исчезновения подобных деревушек, которые как бы исчерпали себя в великих невзгодах военной поры и последующих преобразованиях. Эта повесть получила такую же заинтересованную, если не более полную и глубокую прессу, как и «Привычное дело». Объясняется это, на наш взгляд, не только полемической остротой ряда диалогов и положений в этой вещи с ее открытой для критики «сердцевиной», но и тем, по-видимому, что к прозе Василия Белова успели при-

выкнуть и, так сказать, притерпеться. Проза эта получила (точнее, завоевала!) право «на прописку», определилась уже и ее координаты — хотя и огромные, простирающиеся прямо к вершинам русской классики, но все же обозримые и понятные как специалистам, так и доброжелательному читателю. И потому бывшая невнятность критики, отмеченная в соприкосновении с «Привычным делом» и жизнью многострадального Ивана Африкановича, сменилась вполне активным и позитивным анализом нового шедевра Василия Белова.

Нет необходимости нынче перечислять всю биографию критики и литературоведческих работ о «Плотницких рассказах». Очень, к примеру, хороший, исчерпывающий анализ повести был дан в обзорной работе В. И. Протченко «Современная повесть о деревне (к проблеме народного характера)», помещенной в журнале «Русская литература», № 4 за 1970 год. «Для новой прозы о деревне (С. Залыгин, Ф. Абрамов, В. Белов и др.), — писал критик, — характерна тенденция к отражению конкретно-социологических процессов, повышенный интерес к достоверно-фактической основе, стремление к убедительной несомненности воспроизведенных картин жизни. Большинство писателей... стремятся исходить не из готовых социологических посылок, а пытаются постичь достоверные истины в результате скрупулезного исследования объективных общественных явлений».

В статье получили обстоятельное освещение и «небыкновенная находчивость и прямо-таки дерзкая изобретательность Виньки Козонкова, всегда умевшего найти выход из неблагоприятного положения за счет ближних либо интересов дела», и трудолюбивая честность, выносливость (так же и в плане социальном) Олеши Смолина и всей его трудовой семьи. Подчеркивалось, что в повести с особой обнаженностью проходит мысль о несовместимости, непримиримости народно-созидающего начала и враждебных ему антиобщественных, деклассированных разрушительных элементов...

«Только при воспитании личности в духе неразрывности и соподчиненности ее интересов и устремлений с интересами и условиями жизни своего народа, — писал критик, — только при органическом совмещении личных забот и помыслов с заботами и судьбами народными, «только в труде вместе с рабочими и крестьянами» (по Ленину) возможно формирование полноценного нравственного об-

лика человека». Другой важный вывод из повести критик видел в том, что «...неустанный труд, труд как жизнестроительство обогащает и украшает самого человека, способствуя сохранению и приумножению из поколения в поколение не только трудовых навыков и секретов производственного мастерства, но и здоровой трудовой нравственности, мудрого понимания жизни и красоты окружающей природы».

Откровения Авинера Козонкова были столь глубокомыслены и по-своему общественно значительны, а простодушная и почти «святая» готовность Олеши Смолина «сосуществовать» и до семижды семи раз прощать и даже петь в обнимку одну и ту же песню 20-х годов («Под частым разрывом гремучих гранат отряд коммунаров сражался...») настолько поразительна, что экскурс в прошлое этих людей и деревенского люда в целом следовало продолжить. Но теперь уже не в личностном и не в «мирском» плане, а в более широком, общественном и государственном. Во всяком случае, у художника снова возникла такая необходимость — для лучшего понимания дня нынешнего и даже времен грядущих. Тема автором расширялась и углублялась всесторонне в дальнейшей работе.

Собственно говоря, писатель действовал в рамках определенной общественной потребности, о которой весьма доходчиво и аргументированно говорил на VI Всесоюзном съезде писателей другой крупный наш писатель — Федор Абрамов. Знаток жизни и литературы вообще (а «деревенской темы» в особенности), он приглашал взглянуть на эту так называемую деревенскую тему «с высоты вавилонской башни» века и понять, какие поистине эпохальные процессы ныне происходят в деревне, какая кровная необходимость стоит ныне перед всей нашей литературой. Старая деревня с ее тысячелетней историей уходит в прошлое. Рушатся вековые устои, изменяется само «материнское лоно» России, и поэтому мы с обостренным вниманием вглядываемся в тот тип человека, который был создан деревней, где зарождался и складывался наш национальный характер; вглядываемся в наших матерей и отцов, дедов и бабок. Ведь на плечах этих безымянных тружеников и воинов стоит ныне здание государства и всей нашей сегодняшней жизни!

«Да, темные и малограмотные, да, наивные и чересчур доверчивые, да, порой граждански невоспитанные, но ка-

кие душевые россыпи, какой душевный свет! Бесконечная самоотверженность, обостренная русская совесть и чувство долга, способность к самоограничению и состраданию, любовь к труду, к земле и всему живому...» — говорил Федор Абрамов (Наш современник, 1976, № 9), а в завершение делал очень важный вывод: «Нельзя заново возделать русское поле, не возделывая души человеческие, не мобилизуя всех духовных ресурсов народа».

Теперь в центре внимания Василия Белова стала эпоха «великого перелома», то есть общественных процессов конца 20-х и начала 30-х годов в русской северной деревне. Речь идет о романе «Кануны», который можно, па наш взгляд, считать, без сомнения, энциклопедией крестьянской жизни на рубеже эпохи, в канун коллективизации. Эта книга впитала в себя не только художественные достижения всей нашей литературы на данную тему, в том числе и такого выдающегося романа современности, как «Поднятая целина», но и громадный опыт народа в последующие годы, опыт и раздумья ветеранов, живых свидетелей эпохи. Мимо всего этого не мог пройти писатель, летописец своего времени.

Колорит художественной палитры Василия Белова в описаниях русской природы, деревенской «натуры», крестьянского быта, человеческих характеров позволяет не только представить и почувствовать эту жизнь вещественно — на вкус, цвет, запах и «крепость настоя», но и проникнуть заинтересованным сердцем в ту потаенную суть бытия, высший смысл этой традиционной жизни, который лежит в ее основе и который прямо отразится позже в названии новой книги Василия Белова «Лад». Мудрость вековая и равновесие целесообразности правят этой простой жизнью, которая вершится в некой задумчивой безмятежности (как бы!) — и в бревенчатом обиталище, и на хозяйственном подворье, и в поле — зимой и летом! — на покосе, рубке леса и непременном игрище под праздник. В этом ее смысл, ее трудность и ее праздничность. И недаром старик Никита Рогов, хранитель жизненных традиций, в вечерней молитве коленопреклонно просит господа не только «дать ослабу душе и телу», но и... соблюсти их (крестьян) «от всякого мечтания и темных сласти...».

Нет, не скопидомы и бесстрастные «куркули» живут

в вологодской деревеньке Шибанихе, а труженики и мудрецы, знающие кровную необходимость и частного, индивидуального труда, и выгоду общинного пользования лугом и поскотиной, и несомненную пользу всякой добровольной кооперации — хоть вокруг машины, трактора и сепаратора, хоть в создании общественного семфонда, страховых отчислений или при артельном сооружении мельницы, которая еще раз объединит их кровным делом и справедливой зависимостью общего житья на земле.

Всякий труд, если он не лишен смысла, — радость. Вдвойне радостно общинное дело в коллективе, которое объединяет и роднит человечьи души. Оттого-то с таким самозабвением бросается молодожен и силач Павлуха Пачин в дело с постройкой мельницы-ветрянки и заготовку леса для нее, что эта будущая мельница — живое воплощение его трудолюбия и совестливости, неумения есть даровой хлеб и при этом почти единственный способ самоутвердиться среди соседей-селян, которые прекрасно знают по вековому опыту, что им ценить и любить в ближних.

Уже не раз подчеркивалось в критике поразительное знание Василием Беловым предмета повествования, всей крестьянской жизни и сельского быта до мельчайших деталей и оттенков. Взять ли описание мужицкого подворья в деревне Шибанихе — семьи Роговых, или вечерних посиделок с непременной домашней работой (дабы и в досуг попусту не гуляли руки!), или праздничного гуляния на святки, или же непрерывно меняющегося по сезону и даже в течение одного дня и тем особенно благотворного для человека крестьянского труда — все дышит правдой, непредвзятостью, силой и внутренней красотой, благородством. А некоторые атрибуты и подробности бытия под пером писателя приобретают значение символов. Вот описание вековой сосны посреди снежной поляны близ деревни Шибанихи: «Саженях в ста от него зеленої горой высыпалась вековая сосна. Павел замер, словно боясь вспугнуть зеленое лесное видение, никогда не видел он такой великой сосны. Ветер обдул с дерева все до последней снежинки, каждая тяжелая лапа будто жила сама по себе, гордая своей отдельной красотой и независимая от других. Но как же едины, как дружны были эти широкие лапы на отдельных толстых оранжево-медных сучьях, спадающих от материнского в три обхвата ствола!»

В другом месте картина как бы дополняется, прописывается:

«...Мерцали, золотились на солнышке червонно-коричневые мутовки сосен. Обволоченные нежным зеленцом хвои, сосны эти были недвижимы, но они жили сейчас полнее и шире других дерев, их безмолвие таило в себе какое-то скрытое благородство. Жила, созерцала, не мешая другим, наслаждалась солнцем и пила поднебесную синеву каждая пара иголочек, ясно видимая по отдельности. Но в то же время она, каждая пара игл, была частью, и все дружно облепляли тонкий сосновый пруток, и каждый пруток был на своем месте, в каждой сосновой лапке. В свою очередь каждая сосновая лапка жила отдельно и вместе с другими; они, не враждя друг с другом, переходили в более крупные ветки. Ветки незаметно перевоплощались в мощные бронзовые узлы, расчлененные по всей кроне и объединенные в ней единой и неделимой.

В каждой сосне не было ничего лишнего, и они, дополняя друг дружку, каждая по-своему оберегали лесную семью...»

Как видим, это уже не просто спелый, сильный сосняк, но Русский Лес, который олицетворяет собой Страну и Народ.

Некоторые наши талантливые новеллисты, в особенности мастера «лирической прозы», как бы умышленно абстрагируются от «слишком прозаических» обстоятельств, «низких» слов и некоторых терминов (вроде «колхоз», «актив», «госзаем», «собрание», «обязательство» и т. д.) и житейских, сугубо временных примет мира сего, погружая человека в раздумья и томления «вечного порядка» — жизнь и смерть, юность и старость, любовь и ревность и т. д. и т. п. В иных случаях такая избирательность и изысканность переходят (может быть, и не по их воле) в манерничанье и кокетство «умением». Прозе Василия Белова органически чужды какие-либо внешние «приемы» и изыски художественности. Писатель с таким масштабом дарования сам, даже не прибегая к трудам основоположников эстетики, знает и чувствует, что «прекрасное... — есть жизнь». И если взять, к примеру, начальную главу повести «Привычное дело», разговор подвыпившего Ивана Африкановича со своим заезженным и безотказным мерином Парменом, то налицо явно полемическое отношение автора к самой постановке вопроса о том, что в жизни «художественно», а что нет. Художест-

венно то, что истинно. Под его пером повседневно-текущие подробности быта становятся в ряд с вечными проблемами и темами бытия — жизни и смерти, добра и зла.

Несколько отступив от темы, скажем, что это ведь и всегда так было в большой русской литературе. Наши классики никогда не игнорировали сугубо «низких» примет жизни, не обходили стороной ни процентных бумаг, ни меркантильных страстей вокруг имущества и наследства, ни ценности какой-нибудь «шинели» в жизни мелкого чиновника, умевя из всего извлечь высокий смысл...

У Белова поэтизируется не только и не столько сельская природа, крестьянский быт и досуг, но и самый труд.

Сколько прелести в этой простейшей и нелегкой, скажем, работе — зимней вывозке сена с остоожьев на усадьбу! Обратимся еще раз к тексту:

«Павел быстро нашел стога. Мерин в целок, уверенно шел по глубокому снегу. Обминая дорогу, Павел дважды объехал вокруг крайнего от леса стога, бросил коню сена и обил снег. С ласковой нежностью (разрядка здесь и далее моя.—А. З.) Павел подумал о том, что стог металла, наверное, Верушка. Он снял вилами обвершье, и в лесу, в тишине, на снежной поляне пахнуло зеленым, забытым. Словно добрый поклон от невозвратного лета передал коню и человеку распечатанный стог.

Павел с наслаждением поднимал вилами широкие пласти, кидал их на кресловины дровней. За все эти свадебные дни он стосковался по крепкой, выбивающей пот, работе...»

Интересно, что всякие планы или опасения и сомнения в будущих делах и задумках (к примеру, строить или не строить мельницу?) решаются здесь же, в процессе труда, в осознании кровной необходимости, в общении с землей, инвентарем, инструментом и даже умным, все понимающим мерином Карьком. И когда тесть Иван Никитич остережет Павла словом сомнения насчет того, что тот затевается с мельницей не совсем обдуманно, в «ненадежное время», молодой зять Павел бодро и находчиво усмехнется: «А когда время было надежное?..»

Да. Пока крестьянин занят делом, пока он рубит лес и сооружает общественный и в то же время свой ветряк, вывозит на поля навоз (теперь это благозвучно называют

органическим удобрением), пока пашет и сеет, рядом и в недрах этой же вековечной жизни развиваются процессы, о которых мужик до поры имеет самое отдаленное представление. Но это крестьянин советский, переживший революцию и гражданскую войну, полный оптимизма и веры в исконную целесообразность жизни на земле. И потому слова Павла кажутся нам не только выражают высокое человеческое достоинство молодого крестьянина, но и обоснованными трезвым и спокойным рас- судком...

Устоп и первородство сельской жизни освящены опытом веков. Тут ко всякого рода «переустройству» подходить надо бы с великой оглядкой. Волонтизм, вредный, безусловно, во всяком деле, здесь опасен вдвойне, ибо касается основной массы народа. Тем более что нравственная неоднородность единой национальной среды может быть опасной едва ли не в той же мере, как и неоднородность социальная. Раздумья эти, опасения и заботы, как и в других краях России, тревожат наиболее разумчивых людей и здесь, в Шибанихе. На переломе эпохи люди стараются не только понять свое время, но и предугадать будущее, сталкиваются противоположные мнения, кипят страсти...

Конечно, старому большевику Лузину есть что сказать на сомнения изверившегося и усталого интеллигента Прозорова, на предвзятое смещение идеи с безыдейными отклонениями и завихрениями, доводящими всякую здравую мысль до абсурда. Но в чем-то прав и сомневающийся интеллигент Прозоров, ибо Лузин сам замечает, что к здоровому и верному движению народной жизни по его, Лузина, партийной программе все сильнее и определенее примазывается нечто чуждое и вредное, чего, собственно, никто не мог заранее и предположить...

Ключевой сценой романа, по-видимому, надо считать беседу двух старых большевиков, бывших политкаторжан — уже известного нам председателя волисполкома Лузина и секретаря губкома партии Шумилова.

«— Все это троцкистские штучки,— резко сказал Степан Иванович.— Разве не ясно?

— А что, разве в стране нет кулака как такового?

— Кулак есть, конечно,— Лузин задумчиво отодвинул стакан.— Но... во-первых, ленинский кооперативный план бьет по нему намного верней и надежнее, чем все

эти левые лозунги. Мы же обязаны это знать! Во-вторых, нельзя стричь всю страну под одну гребенку. Одно дело Сибирь, например, другое дело наша губерния...

— Допустим. А как быть с производственной кооперацией? То бишь с обобществлением земли?

— Да она же сама явится, как миленькая! Стоит нам дать крестьянину трактор».

Эти люди, старые большевики, живут в великих заботах села и всей страны. Они наделены большими полномочиями. Но увы, иные мероприятия «левого свойства» выходят далеко за рамки этих полномочий...

Так называемые «перегибы» 30-х годов, неоднократно осужденные в партийных решениях и в особенности отмеченные сразу же в известной статье «Правды» «Головокружение от успехов», персонифицированы в романе Василия Белова «Кануны» деятельностью уполномоченного РИК, односельчанина многих героев книги Игнахи Сопронова. Народ должен помнить уроки прошлого. Нельзя упускать из виду также и сладко-романтических грез Кривого Носопыря, так же как и вожделенной мечты Тани-активистки, простодушия наивного Коли Микуленка, да и собственной нашей безмятежности, быть может, в самые роковые минуты мира сего...

Сопронов приступил к делу, не мешкая: неумолимый окрик — и весь, как говорится, сказ: власть — на местах. Хотя она уже и не « власть »: Игнаха Сопронов, оказывается, уже исключен из партии за неуплату членских взносов и прочую несознательность. Но он уже возлюбил свое положение и, чтобы не подумали худого, «засупонивает» соседей еще крепче, дабы с ним считались или хотя бы его страшились. Он бдит сознательно и целеустремленно, вопреки здравому смыслу и мучительным поискам Лузина и Шумилова. Здесь есть над чем подумать хотя бы в ретроспекции. Художественная правда хватает далеко за пределы того момента, где она рождалась...

В критике уже говорилось, что вся ткань романа «Кануны» пронизана живой и осознанной верой писателя в разум народа, в частности — разум и совесть крестьянин, освобожденного революцией. Пронизана тревогой за судьбу его возвышенных и жизненно справедливых помыслов. В этом смысле Василий Белов не дает спуску тем прозаикам и критикам, которые упорно и закоснело продолжают считать крестьянина «темно-кондовой» си-

лой, остающегося до сих пор объектом воздействия, а не солью земли и сутью жизни.

Василию Белову, как народному писателю, есть что отстаивать. Не раз уже говорилось, и говорилось доказательно, что деревня — исторически — была в течение веков хранительницей нравственных норм и устоев всего русского народа. Ребенок, видевший, как бабушка кладет в возделанную ею грядку огуречное семечко, а с течением времени срывает с упления, пахнущего жизнью, зеленый пупырчатый огурчик и здесь же, над грядкой, дает ему (даже немытым, а вскоре вытертым о фартук), — этот ребенок усваивает почти бессознательно (точнее — органически, без всякого усилия) главное: прямую взаимосвязь труда и — жизненного блага; работы на земле и — насущной пищи, узнает наслаждение жизнью. Здесь (по Сухомлинскому) начинается и завершается весь круг нравственного и этического воспитания. Отсюда начинается человек как индивид и как общественная единица, не в пример иному молодому горожанину, умеющему только заводить пресловутый регочущий магнитофон либо сшибать палкой (по известному опыту академика Павлова) близлежащий плод — независимо от того, свой он или чужой, зрелый или еще зеленый... Этот современный «Нахаленок» в модной нейлоно-поролоновой курточке с «молниями» на всех подобающих и неподобающих местах отчасти воспитывается при семи няньках, создавая свои проблемы. Основы наук ему, разумеется, даст школа, маршировать и дудеть в горн научат в пионерах, в детсаду он уже научился лепить из пластилина и без умолку, бестолково кричать хором, как на пожаре, но при всем том он лишен... бабушки. Родителям же, отягощенным работой, ездой в общественном транспорте, очередями за тем самым пупырчатым огурчиком и хвостом редиски и в особенности вешевым ренессансом, почти что никогда и приложить руку к ребенку. Даже при том условии, когда им есть что передать детям из области морали и нравственности.

Здесь именно, в рамках нового, городского, многоэтажного жизнеустройства, и возникает широкая тема для новой книги Василия Белова — «Воспитание по доктору Споку»...

Завершая разговор, хочется напомнить слова известного писателя Василя Быкова, сказанные в юбилей другого русского прозаика: «Литература для него отнюдь не

цель, а лишь средство выражения истины, гораздо более высокой и значительной, чем его искусство и он сам...» Сказанное с полным правом можно отнести и к творческому импульсу писателя Василия Белова, с единственным лишь уточнением: столь высокое призвание и подвижническое отношение к избранному делу не может не порождать и высочайших образцов искусства.

МИР ПРЕКРАСНЫЙ И ЯРОСТНЫЙ...

О творчестве Виктора Астафьева

Говорить и писать о большом таланте — трудно. И не потому, что о нем уже достаточно сказано в литературной критике, всевозможных печатных «дискуссиях» и «полемиках», из-за чего рискуешь повторяться или выдать чужую мысль за свою. Главное тут в другом, а именно — в сложности и глубине самого явления талант. О нем почти невозможно сказать не только все, но и то, что сказать надо непременно.

Надо в первую очередь преодолеть и такое, к примеру, близлежащее искушение: начать прямо с разбора событий, образов и характеров из произведений писателя, так сказать, «в лоб», запросто и «не мудрствуя лукаво», то есть именно так, как на первый взгляд и написаны эти произведения. Преодолеть. Ибо чувствуешь тотчас, что подобная простота подхода разом обрачивается дробностью и неполнотой мысли, а то и фамильярной бойкостью, то есть той неподходящей, банаенной простотой, которая, как известно, хуже воровства... Выходит, не только во внешней достоверности событий и даже не в полнокровной колоритности отдельных образов дело, в чем-то другом... Но как иначе постигнуть жизненную, философски значимую глубину и объемность прозы, как прикоснуться к самому главному, сокровенному в ней, если у автора опять-таки все выражено в простом, как будто обиходном слове и зачастую — во внешне непрятательных картинах жизни, каких — по отдельности — немало в общем-то и в других, более или менее талантливых книжках других авторов?

Существуют понятия: мир Горького, проза Булгако-